



Татьяна Ивановна Грибанова родилась в деревне Игино Орловской области. Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института. Работала преподавателем. Печаталась в журналах «Подъём», «Наш современник», «Роман-журнал — XXI век», «Сельская новь», «Простор» и других. Автор девяти книг поэзии и прозы. Лауреат Всероссийского конкурса «Звезда полей» им. Н.М. Рубцова, награждена специальным дипломом «Прохоровское поле», премиями им. Е.И. Носова, им. А.П. Платонова, им. С.А. Есенина, золотой медалью В.М. Шукшина и др. Член Союза писателей России. Живет в Орле.

Татьяна Грибанова

ДАБА

Рассказы

НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ

Помню, когда не стало бабушки, а тому уже несколько десятков лет, отец, принимая наследство — вросшую вземь вместе с завалинкой хату, какой сараюшко да обнесенную ореховой чостоколиной бакшу, — отослал меня доглядеть, «не завалилось ли чего дельного» в заполоненном вышедшим из годности посудом да всяческими хархарами чулане. Расстаться бережливой старушке со всем этим хламом рука не налегала, — авось когда-нито сгодится! — и потому за долгую жизнь скопила она много, по отцову мнению, «всякого-разного-вовсе никчемного».

День под завязку ухлопала я на разборку бабулиных завалов. Засушенные «кухвайки», изрядно побитые «шашалом» белокрайки и валенки, ношенные-переношенные, когда-то форсовитые «плюшки», разложив на задворках костровище, хоть и посожалев о них, все ж таки мы спалили. А неподдающийся ни времени, ни полымя хлам навалили поднебесной горой на телегу и, спровадив его в дальние овраги, прикопали.

Единственной ценностью во всем чулане оказался, на мой взгляд, с любовью завернутый в холщовую ветошку, запрятанный в фанерный посылочный ящик медный самовар, почти вовсе и не потускневший (уж чем его бабуля надумилась смазать, сказать не решаюсь) на вид, все еще «ходкий».

По какому такому ранжиру старушка занесла его в разряд «теперь никчемных», до сих пор не соображу. Насколько помню из детства, она его несказанно любила и всячески лелеяла: и вишневыми веточками престарелого подкармливала, и всякий нужный раз бузиной до блеску натирала. Может, случилось это после того, как однажды накануне Светлого Воскресенья привезла я ей вместе с другими гостинцами и залиvistый, со свистком, к тому же, нет сил какой красивущий — по черному полю алые рябиновые гроздьи, — электрический чайник?

Обнаружив отложенный в сторонку самовар, отец подивился: мол, зачем тебе такое старье? Да из него, почитай, полвека чаю не пивали.

А бывало-то, особенно зимними вечерами, как сейчас вижу, усадит бабуля «внучатков» за стол, а на самой середке столешни, ясное дело, — самовар. Сидим, чайком с донничком, с липой, мятой да медом балуемся, блины один за другим из высоченной («что твоя Русалимская гора») стопки таскаем, и бабуля не стерпит, заведет свою любимую:

На Муромской дорожке
Стояли три сосны.
Прощался со мной миленький
До будущей весны...

Спустя много лет стала я понимать, почему именно эта печальная песня так трогала бабушкину душу. Дед мой, как и многие наши деревенские мужики, чтобы прокормить все увеличивающуюся семью, уезжал на полтора-два года в далекие края: то во Владивосток, то в Киев, а то аж на Балхашстрой. Вот и поселилась в бабулиной хате вместе с нею да шестеркой прижитых от деда ребятишек печаль-кручинушка. А когда, не прожив и 35 лет, он и вовсе сгиб в Казахстане на строительстве металлургического завода, черноризная тоска на веки вечные заполонила ее сердце...

Ну, так я о бабулином самоваре. Не вступая в споры с отцом, а тем более в разъяснения, запеленала я дорогого найденыша в ненадеванный бабушкин подшалок, благо их, надаренных детьми и внуками, в старушкином сундуке — целая «огромная» стопка, увязала, значит, самовар в узелок, да и забрала к себе на жительство.

Прежде всего, как водится, с дороги искупала найденыша. Уж и какими только никакими мылами, порошками и чем только не натирала, не полировала! И старания мои не оказались напрасными — спустя несколько часов, глядь, надаренный самовар-то мой разулыбался, медалями на щечках своих расхвастался — так и посверкивает, так и подмигивает. Присмотрелась я к буковкам, что слева от краника, понизу, выбиты. Оказывается, самовар-то мой — не хухры-мухры: пред-ревний! Сработан аж в 1840 году в Костроме на фабрике Суматохина. Это ж подумать только: сколько ему годков оттикало! И, что самое удивительное, благодаря бабулиной заботе — хоть сейчас на стол.

Если уж говорить по секрету, чай из него пить я остерегаюсь — все ж таки самовару этому скоро два века стукнет! Вдруг где не доглядела, не дотерла, не дочистила, а медь ведь имеет свойство окисляться.

Но дело найденышу моему все равно сыскалось. И какое дело! Обнаружилось как-то, что он за свою долгую жизнь запомнил столько всякого-разного, случившегося при нем на крестьянском подворье. Но особенно любит он, хлебом не корми, старинные раздумчивые песни спевать. С тех пор как прознала я у него такой талант, мне и музыки другой стало вовсе не надобно. Залью в самовар водички, подброшу в нее для духмяности сушеных вишневых веточек, подкину, куда надо,

расперенных сосновых шишек, их у меня для таких особых случаев целый мешок из бора припасен, растоплю, значит, бабулин самовар. Сижу, из электрического чайника кипяточек подливаю, заваренными травками разбавляю. Чай попиваю да песни престарелого самовара слушаю. А уж он так-то выводит, так-то старает-ся, подчас может и слезу из меня выжалобить:

На Муромской дорожке...

НА ЗИМНЕГО НИКОЛУ

Вторая половина декабря на хуторе — самые беспросветные дни. Зимний Никола приходится как раз на эту пору. По пролетью-то Никола — звонкий, радостный. Так и надо думать! Чудотворец родился в кипенный цвет, в конце мая. Покинул же земную юдоль в декабре, по нашим меркам — в самую что ни на есть стынь. Как у нас говорят: «Господь не зря время выбирает».

Погоды к этому сроку стоят такие заунывные, хоть сам ложись да помирай: полдень на дворе, а вроде еще и не рассветало. Промигнет с полчаса, разжиревшая на кухонных облизочках Марфутка за-ради прогула в амбар за мышью не успеет дотелепать — уж и в обратку мявчит. Ах ты Боже мой — темень непроглядная! Котейка заластится, оправдываясь: мол, поди, спроворься тут в эдакой стыллой слепоте, — и шнырь себе на печку, под стеганую лоскутную одеялку, поближе к дышащему жаром кожуху.

И все же если бороться с духом, чуток потерпеть — глядишь, сначала незаметно, крадучись, но с каждым новыми сутками прибавляя по граммулечке, свет все шире примется раздвигать ненавистную темь, не на шутку взявшую было в полон нашенскую округу от самого низовья Кромы до суглобистых старогнездиловских пригорков, от Савина лога до охрипшего, ознобко завывающего своими поднебесными деревьями Волчьего леска.

Испокон веку хуторское житье считалась, да оно и верно, затворничьем. Мне же эта глушь как раз на руку: разве что почтальонша заглянет и та — в редкую стежку. В доме пахнет уютом, сидишь себе в горнице за заваленным книгами и бумагами столом и, если не отвлекаться, махнуть рукой на жасмины, поминутно царапающиеся в оконное стекло, то лучшего места для работы и не пожелаешь.

И благодаришь за то, что есть такое у меня местечко, Всевышнего и просишь у него «не о чудесах и не о миражах», а чтобы позволил на всю мощь использовать силу каждого дня. Чтобы обострилась наблюдательность и проявилась находчивость, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Так хочется научиться правильно, не разбрасываясь, распоряжаться временем своей жизни, обрести тонкое чутье, чтобы отличать необходимое, важное от второстепенного.

Оглянуться не успеешь, уклюнувшись в свои строчки, а уж и осливовились сумерки. Раздвинув тюли, продышишь на промерзшем стеклышке глазок, но всматривайся, не всматривайся в заоконную синь — едва-едва разглядишь при-сыпанную золой стежку, притулившись в дюжине шагов от ворот притрухнутые сеном сани, у дальнего амбара «размытую» надвигающимся вечером уже изрядно подъеденную копешку гречишной соломы.

Поведешь глазами по избе, и они, усталые от дневной работы, сами по себе с благодарностью за дарованную поддержку устремятся на божницу, где в тесном ряду в уже потускневших окладах еще с бабушкиных времен прижились по сторонам от Спаса и Всемилоствивая, и Анна Кашинская, и Пантелеймон-целитель, и, конечно, — куда нам без него-то? — Никола Угодник.

Потом, укутавшись потеплее во все еще хранящую аромат «Красной Москвы», «сбитую» от многолетней носки мамину пуховую шаль, распахнешь певучие двери, шагнешь в простылые, дышащие пуками полыни и мяты сенцы, спустишься, ступая теплущими валенками по хрустким крылечным порожкам, в каляную декабрьскую тишь...

Пройдешь сквозь таинственно дышащий сад, захрумкаешь едва приметной стезжкой по скатывающейся в низину улочке в белесом свете откуда ни возьмишься объявившегося месяца. Хотя удивляться ему, ни с того ни с сего засветившемуся, не стоит: чего не может стать на Николу Чудотворца?

Вот и подтверждение этому: вроде еще не отпускает, еще погружена в начатую пару дней назад повесть, еще прокручиваются, примеряются на героев их монологу; еще с ними, а порой и с самой с собой, подлаживаясь под главную задумку, веду, то горячась, то в сердцах комкая, бесчисленные разговоры, но в то же время зоркой душой, чутким слухом, всем своим существом, обонянием-осязанием впитываю этот затерянный меж орловских лугов, взгорьев и перелесков декабрьский вечер.

Может, пока не придаю этому значения, но все, что сейчас рядом, чуть поодаль или где-то там, в скрывшейся дали, потом непременно проявится. Через месяц, через год, а может, через десятилетие, но обязательно всплывет в каком-нибудь рассказе, эссе или хотя бы миниатюре. Эти продуваемые сикось-накось, вдоль и поперек заметеленные снегами поля, этот выскальзывающий за деревню, укатанный санями до блеска начищенной стали проселок, эта обнесенная высоченными будьями борцевики околица, эти реденкие, вскрапывающие то там, то сям сквозь колючие воздуха огоньки.

Спустившись в низину, прохожу вдоль широкой сельской улицы. Но и на ней, полузаброшенной — дом за домом заколочены, — окошки теплятся: друг от друга едва видать. Лишь иногда взгамкнет псина, еще реже всхлипнут скрипучие за-поздалые полозья и — снова немота.

И вдруг среди этой первозданности, словно диво дивное, четко-четко слышится: над освященной Поповкой нежно всплеснулся и поплыл, потек, разливаясь и накрывая всю округу, сначала дробный, а потом все шире, все необъятнее и величественнее благовестный перезвон. Это колокольня Сергиевской церкви в праздник Святого Николая Чудотворца наперекор многоверстовой глуши и немоте собирает на службу оставшиеся живые души со всех окрестных деревушек.

Ноги сами по себе сворачивают влево, на дорогу, уводящую на изволок. Там, на самой его вершине, как последняя сокровенная надежда на фундаменте древнего храма несколько лет назад с Божьей милостью миром поднялась наша Сергиевская церква.

Ни изгороди вокруг нее, ни ворот пока не успели обустроить, а потому еще издали различаю в ореоле крылечных фонарей несколько саней, пристроенных к коновязи лошадок. Дождаясь конца службы, они кунаются в подкинутые рачительными хозяевами охапки сена, жуют, прядая ушами, прислушиваются к за-тихающему перезвону колоколов.

Чуть поодаль, в рядок с ними, — арендаторский «Беларусь», так себе тракторишко; справа от него, задком к присевшей под снеговыми шапками ели, — такой же, повывавший виды ЗИЛок Семена Петровича; и совсем уже с краешку, ближе к взметнувшему в поднебесную четырехметровому дубовому кресту, — незнаю какими козьими тропами пробившаяся из дальней деревеньки «девятка» тамошнего главы поселкового Совета Федюшина.

Отвернешь взгляд от церковного пяточка — черным-черно до жути. И, по всей вероятности, на этот раз прогноз не обманул: словно исподтишка из-за домов, сараюшек на дорогу, перебивая и путая путь, начинает выскакивать хлесткая за-

мать — предвещница обещанной непогоды. И на деревенском погосте, что приоткрылся слева, в широченном, укрытом склизким переблескивающим настом поле то, словно в предчувствии чего-то неизбежного, навзрыд голосят, то вдруг разом покорно смолкают голые березы.

Правда, когда выбираюсь на освещенное церковью пространство, на душе теплеет, даже перестаю замечать и усилившиеся порывы ветра, и пригоршни колючей сечки, которыми они неистово швыряют во все движимое и недвижимое, пытаясь взгородить заслон от земли до самых поднебесных небес.

Время от времени двери храма отворяются, и уже с паперти сквозь распахнутый внутренний притвор улавливается густой и одновременно освежающий запах благовоний, которым отличается в особо почитаемые праздники наши церкви; слышится песнопение, просматриваются оплывающие огоньки реденьких свечей. Стараясь не упустить ни одного слова из кондака, прохожу поближе к средокрестию — к стоящим полукругом перед отцом Александром прихожанам.

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов, миру всему источаяя многоценное милости миро, и неисчерпаемое чудес море, восхваляю тя любовию, Святителю Николае: ты же яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче...

Справа от меня, зажав в левой руке кроличью шапку, стоит погруженный в себя арендатор Михеич. Дела его в этом году, прямо сказать, никаковские: лето не принесло ожидаемого урожая, кредиты, будь они неладны, сдавили горло: чтобы вконец не разориться, пришлось мужику распродать прикупленную было технику. А как без нее хлеборобу? На оставшемся трухлявом «Беларусе» ни вспахать, ни засеять. Остается Михеичу надеяться разве что на чудо.

Впереди него — соседка моя Матвеевна. Уже с неделю ходит вдоль хутора как неприкаянная, с лица спала. Так и врагу не пожелать ее переживаний. Вот ведь говорила она Лидии, дочке своей средней: мол, «пошто тебе при нашей жизни третьего-то? Не послушала мамку, теперь расхлебывает: мало того, что из райбольнички с двойней возвернулась, так сначала прошли по деревни слухи, а потом уж и доточно стало известно, что Степка ее, паразит шалопутнай, в Москве на заработках бабой обзавелся. Третий месяц ни к Лидке, ни к детям глаз не кажет». Притопала Матвеевна, несмотря на свои радикулиты, к Николе Мирликийскому, бьет неистово в мольбах ему поклоны: может, все ж таки сжалится Чудотворец, уразумит гулену, вернет потерявшей от горя рассудок дочери мужа, а ребятишкам их непутевого батяньку?

А на лавочке поселковый глава Федюшин пристроился. Тоже к Угоднику припожаловал. Мочи нет службу выстоять. Авось Чудотворец не оставит его молитвы без внимания? Ведь всю, как есть, осень по больницам да по больницам, даже к бабке в Алениху за водой нашептанной да за травами ездил. Ничего не помогает. Ну, так кто ж не знает: должность у него и впрямь собачья. День-деньской идет к нему люд и идет. То мост паводком снесло — вынь и положь новый, то хлебовозка неделю как не объезжается, то мотор на водочаке окончательно накрылся. «При таковской круговерти какое ж сердце сдюжит, разве что стальное?» — вздыхает Федюшин, жалуясь на заботы Святителю. А кому ж еще-то?..

Вошла припозднившаяся учительница Светлана Григорьевна. Поставила перед образом Николы Угодника свечку и замерла, беседуя сердцем со Святителем. Раньше-то она, говорят, в городе в большой школе работала. Но что-то там у нее с женихом не заладилось. Вот уже годков семь как втолковывает она нашенской детворе, чем синус от косинуса отличается, а по-прежнему одна-одинешенька. Да за кого в глуши нашей пойдешь, разве что за деда Пуцая? Хотя... Может, и дого-

воротится Светлана Григорьевна с Чудотворцем. Прощел слух: участвовый у нас объявился. Прехорошеньки-ий! И самое главное — холостой!

Не упускаю возможность и я пооткровенничать в этот волшебный вечер с Николаем Чудотворцем. О чем? Да хотя бы о моей заветной мечте, чтобы долгие-долгие годы еще не покидала меня радость вымыслов.

Уж и село прошла до последнего домочка, уж и вдоль хутора к усадьбе своей поднялась, а в сердце все звучит, не смолкает:

Радуйся, яко тобою отгонится рыдание.

Радуйся, яко тобою приносится радование.

Радуйся, Николае, великий Чудотворче!

НИНИЛИНА ИЗБА

(Боль старой избы)

Примерещилось, или взаправду кто-то тяжело-тяжело вздохнул? И этот вздох так и повис в воздухе. А спустя пару минут и вовсе, словно старушонка какая, выморкавшись в передник, «и-их!» — грудно и глубинно завсхлипывала.

Нервишки, видать, у меня ни к черту! Еще раз окинула взглядом засиротевшее лет, почитай, уже семь, не менее, тетушкино подворье с обрушенными изгородями-прясами, козой взбежавшее на отшибе деревни на крутую горюшку — мир Нинилиных забот, ее пристанище долгие, долгие годы. Обошла задичалый, давно переставший видеть цветастые сны сад. Завернула к поленице, заросшей вместе с пчельником высоченной глухой крапивой.

Поднялась на единственный порожек — замшелый камень с незамутненной лужицей воды во вмятине. С горем пополам отодрала от разошедшихся сенных дверей наискось приколоченную плаху, отодвинула обреченно повисшую на ржавой петле, уже и шамкать переставшую входную дверь, протиснулась в избу. И она вздохнула мне навстречу устьем простылой печи.

Присела на лавку передохнуть, заперевирала глазами. Царапнуло: в какую сторону ни глянь — на этой усадьбе ни единой живой живинки. Не пахнет уютно хлеву; ни синки у порога; ни вечно, словно на клиросе, восседавших под сенными стропилами турманов, тех, что развел, было, дядька Николай целую стаю, привезя себе однажды расчудесную пару аж из Курска; ни даже, как водится в любом деревенском жилье, котейки в горнице. И уж тем более ни видом не видать, ни слухом не слышать в этой потерянной избе людского духа. Но кто-то же несколько минут назад так таинственно и печально всхлипывал!

В который раз, поддаваясь обману, обошла Нинилино жилище. Обежала его вдоль и поперек глазами. Истрепанные занавески надувались внутрь избы, у коника — бурьянный, перехваченный рассыпавшимся травяным перевяслицем, голик... вертикально вдоль стены — панцирная сетка кровати... Так, по мелочам, кое-какие хархары...

Захлебнувшись, застопорившаяся бедой вечная вечность сочилась сквозь бревна. В этой хате она уже никогда не станет делиться на дни, часы, мгновения, так сплошняком и потянется, словно трехсуточный Нинилин кисель.

А и немудрено — деревеньку-то, почитай, с десятков лет как из всех бумаг повычеркивали: дорог, мостов не ладили, провода пообрезали.

Кто же тогда в этом захудалом месте таким знобливым, захолянувшим сердцем всплакнул? Ума не приложу. В этой засиротевшей избе наверняка даже мыши — и те перевелись. Скорее всего, переточив все возможное и, за-ради ли интересу, с голдухи ли, даже то, что не ползет в глотку в самую лютую годину, подхватились и

разбежалась харчеваться гнусина хвостатая по тем избам, впотьмах которых, если настырно пошарить, пренебреженно повезет — еще сыщется какой-нито добыток: пшеничное зернышко в опустевшем сусеке, закатившаяся меж щелястых обшорканных половиц, обратившаяся в камень корочка ситного, а коли расщедрится ве-зуха, так и надыбается кусочек замусляканной младенчиком жамочки.

«Видно по всему, показалось, — обустроиваясь в одиночестве на прикрылечном камушке, решила я. — Кому в такой распропашей дыре голосить-то? Не клацнет никакая железяка, не клямкнет никакой запор. Даже птиц в саду нет. Так и сад — не сад, одно название. Трухлявые, больные пни-волдыри да мертвые дерева. Не заперешептывается ветерок в их кронах с молодой листвой, не туктукнет к Спасу оземь яровое яблочко».

Сию, разглядываю с горестной пристальностью похеренное теткино жилище, думы думаю, с превеликой охотой вспоминаю те времена «альяные»¹, когда еще билась, трепыхалась всеми несчетными своими крылами на подворье моей тетушки Нинилы полная каждодневных, ежеминутных забот крестьянская жизнь, швыдкая, не знающая меры в работе, не ведающая, что значит «не под силу», когда еще скрипел, не зная передыху, дюймовый крюк для глубокой и просторной с резными краями детской зыбки в двухохватной матице, когда жилось в этой избе справно: суматошно, молодо и весело.

Притихла, значит, я, одна-одинешенька, словно труба погорельская на пепелище, а тем временем вдруг за спиной, в нутре хаты, через порушенные сенцы, обвешанные пересохшим марьянником, попарно связанными березовыми венниками, всякими-разными жестянками и оплетенными берестой пузатыми бутылками, тут же, на гвоздике, — дерматиновая бригадирская сумка, пропачканная стеганка, под нею — кирзовые, с отвернутыми голенищами сапоги, — пробившись сквозь это старье, снова поселился тихий, не напоказ, истомленный плач. Пресвятая Богородица! «Даже и не верится», — ахнула я тут, допетрив: да это ж сама Нинилина изба от разора, от боли неизбывной загруднымстоном стонет! Всегда так бывает: наваливается эта, карябающая самые дальние закоулки, погибель почти сразу, после того, как стихнет торопкое тюканье молотка, заколотившего кокорьем² и без того жмуркие оконцы старых изб, и останется только смириться и долгими ночами слушать звезды.

Перехватит постройку дыхание, словно вязелем³ сноп, подступит так, что поначалу-то ни вздохнуть, ни охнуть, а потом, когда расчует избяная душенька, что не вернуть уже ни хозяйвов, ни прежней, устоявшейся, словно вода на здешних торфяных болотах, глубинной, но такой прозрачной, как на ладони, жизни, вот тут-то и издаст обреченная изба свой первый предсмертный стон, зазычит вхолостую, словно одинокий зук⁴ на тех же болотах, заголосит лише вдовицы какой в самые что ни на есть распричеты:

Сирота ведь я, горюша бесприютная,
Ночь позябну я холодной, студенной зимой,
Ночь помучаюсь я голодной смертушкой.
Нигде нету-то талой талиночки,
Ни в ком нету мне великого желаньица.
Как жить буде печальной мне головушке?

И что делать разнесчастной избе, не может взять она в толк. Не присоветуют ей, как говорится, ни сват, ни брат, ни соседская курица. Расхворается, когда-то бас-

¹ Альяный — льняной.

² Кокорье — горбыль, кривое дерево.

³ Вязель — вьющееся растение.

⁴ Зук — кулик.

кая⁵, высшей пробы изба венец за венцом. Зажмурятся, закусятся ее с замысловатой вязью по козырьку наличника оконца. Хоть продолжай жить из упрямства, из-за тихой, бессловесной любви к здешним пашенкам и сенокосам, хоть крепись — не крепись, никакими наисильнейшими заговорами не отшептать, не образить уже избу, потому как паразит ее гниль-ржа, окарябает самое сердце; вгрызутся в святую святых, в самую душечку ее лишаи безотвязные — ни дождями их не смыть, ни морозами не выстудить, ни солнцем — умолай не умолай — не выжарить. Проникнет эта хворь всполошенная в самое избяное нутро, наострится отравлять каждое бревнышко, и так в них по капельке, по пылинке вьется, что побороть ее сможет разве что никоги и ничего не падающий огонь. Но тогда и избе не сдобровать.

А может, чем ждать да дожидаться, когда окостенелые осенские ветродуи занесут в прорехи и трещины дождевую воду, споры всеядного мха, а следом — прожорливую гниль, может, так-то и лучше, разом-то? Чтоб уж не мучиться в эдакой обреченности?

Из года в год, срывая с кленов пригоршни семян, бесшабашный, безжалостный ветер — ему-то что, буланому? — без роду без племени! — дуй да дуй себе в ус, — озорник этот шальный, швырял и швырял на крышу тетушкиного жилища кучи бесхозного сора.

И вот уже последняя капля: не семена, а захваченная азартом бесчисленная поросль, с обстоятельной деловитостью укоренившись в стропилах, в переточенной мышами изгнившей сенной трухе обвалившегося чердака, накрывает чумичку-избу — точь-в-точь как кусты задичалой сирени на старом нашем погосте бужуют над сравнявшимися с землей могильными холмиками.

И в полусвете души ее, молчаливо-суровой, накопилось столько неизбывной печали, что того гляди рухнет замертво. И не восстать ей, строгой обличем, чтобы закончить несработанные дела, уже во веки вечные. Молодые растения, все глубже вгрызаясь в тело Нинилиной, где все было к месту и к сроку, избенки, со временем поглотив ее, превратятся в могучие вислопечие дерева...

Меж тем все стало горьким дымом, все кануло: и былъ и небыль. Какой разговор? Не вымолить уже у неба хоть какой-нибудь, самый малый шанс.

Прощаясь, поневоле дотронулась до безмолвно затаившихся трухлявых стен и теперь уже николи не сумняшеса — секи мне голову! — ясно почуяла, как изба, словно осовельи, смертельно большой человек, издавая тяжкие волобы вздохи — дело стариковское, — насмерть перепуганно дрожит в горячечном ознобе.

И рябина над окном, сквозь которую в пепельном полусвете начал сеяться дробный дождичек, — тоже знобкая, красная-красная. И луна с хлестким пасмурным небом в ссоре... К холодам.

ЖИТИЕ НАШЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ

Имя этого городишка, хотя... я нарочно не стану называть его: он легко узнаваем; но вместе с тем этот захолустный, прилепившийся на крутом берегу Оки городок ничем особенным не отличается от сотни таких же глухих, провинциальных, которым потерян счет на громадных просторах России.

Правда, ни в каком ином месте такого не видывала: по ночам, особенно в августе, с уютного, но бескрайне раскидистого неба серебряными штрифелинами срываются крупнющие звезды и вдоль стежек, протоптанных в зарослях аниса и сныти, скатываются прямо в реку, чтобы на ранней заре местные рыбаки вылавливали их блескучей плотицей на самую что ни на есть простецкую мормышку.

⁵ Б а с к а я — красивая, нарядная, добротная.

Вообще-то, утро здесь начинается глубокой ночью, когда чуть позже четырех в пекарне старого монастыря — насельников-то его еще в двадцать седьмом спровадили кого на Соловки, кого тут же, у стены, к Господу — затеплится, значит, в этом Божьем месте еще затемно свет; глядишь, через часок-другой потянет за поросшие ивняком и березой почти сравнявшиеся с землей монастырские стены духом свежего хлеба. И поплывет он вдоль улиц городишка, проберется во дворы: там уж еще до солнца зашевелиятся хозяйки, закрутятся колодезные ворота, замыкают, закудахчут на дальних заулках сараюшки. А когда заперезвонит кухня, завизжит пилорама, затарахтит маслобойня — тут, считай, утро и вовсе вступило в свои права — только успевай поворачиваться.

К этой поре в одном предревнем, еще домонгольской красоты, белом-пребелом, словно лебедь, храме и двух других, более поздней постройки, XVIII–XIX веков, закончатся заутрени. Облагостят и в новом, возведенном на самом верхотуре Архангельской горы, поставленном на месте зеленошелой колоколенки с осыпавшимися шатрами. Хоть и не удалены от стен этой церкви еще леса, хоть и не завершено внутреннее убранство — алтарь взялись резать свои мастера-краснодеревщики, а дело это требует и времени, и молитвенного раздумья, — но и в ней, незавершенной, служба идет уже с самого Покрова, и маковка, лишь выглянет солнышко, еще не тронутой временем сусалью отразится в неспешных водах Оки.

Это не гоголевский Миргород, нет: лужи со свиньями давно с центральной улицы переместились на окраины, и давно здесь не играют на выжженной с берестяным раструбом дудочке, но дикие мальвы, а по большей части лопухи и татарницы за мое почтение еще буйствуют повсюду, и нет им окорота ни в разбитом лет пять назад парке Победы, ни даже на главной площади городишка. Кажется, исчезли они, вездесущие, и городок сам себя не узнает, в диковинку ему станут гладко выбритые газоны; трава здесь живет себе, поживает своей травяной жизнью, какую ей Бог положил.

Переведись этот самый лопушник, где ж мужикам будет, к примеру, «свойскую» распить? А то в тенечке, да хоть под той же монастырской стеной залагут в травницу — и ищи их бабы, свищи. Правда, последнее время повадился на обед мимо стены ходить городской голова; врачи, мол, твердят в один голос: движение — это жизнь, советуют своим ходом передвигаться; а ведь и верно, что ни год — костюм приходится на размер больше покупать, так и денег не напасешься.

Из-за этого самого головы, Петра Степаныча, пришлось гулеванам перебазираться в бурьяны, что подпирают тыльную сторону городской бани. Хоть мужик-то он, Петр Степаныч, в доску свой — идет, со всеми здоровкается, о том о сем расспрашивает, сам, ежели только по праздникам, а это не в счет, в буден день — ни-ни, в рот не берет, но коли заметит кого среди рабочего дня не при деле, а тем более нетверезым — пиши пропало — спуску точно не даст. Тогда уж наверняка — отправляйся за литовкой да выкашивай свое потаенное пристанище.

А так, вообще-то, Петр Степаныч, хоть и с важным лицом, но ничего, душевный, можно сказать, даже мировой мужик! Ничем особо от обычных жителей городка не отличается. Может, в других каких местах это тоже в диковинку, а только местных голова обожает свою «девятку», о каком-нибудь «мерсе» или джипе и мыслить не мыслит. «А на кой он мне, этот “мерс”? Моя ласточка ему еще и фору даст», — ничуть не смущаясь, обронит, бывало, голова, заметив удивление приезжего губернского начальства.

Хоть и протянули газовые ветки вдоль трех основных улочек, голова, как и большинство жителей городишка, осмотрительно печку свою уберег. «Оно, конечно, прогресс — дело важное, — подумалось тогда Степанычу, — а только какой я русский без печи?.. А щец, а холодчику в чугуночке притомить? С плитки-то, из кастрюли и дух не тот, и вкус словотковский!»

Вообще-то, перемены здесь случаются, но, по правде сказать, проходят с великим скрипом. Русский мужик ведь и испокон к ним подходил с оглядкой. И в этом городишке за века — а края эти, если вспомнить, знавали еще набег Дивлет Гирея — можно, конечно, подивиться, только ничего с той самой поры в укладе мужицком по большому счету и не изменилось.

Нет, время, конечно, движется вперед, что и говорить. Но по заутрене, как и двести, и триста, и пятьсот лет назад, на росных подворьях слышится цыркание о подоюники парного. Покрикивает, подщелкивает плеткой пастух, как когда-то его пращур, собирая от хозяек коров и уводя их до вечерней зари в припойменные, поросшие вкусной, истекающей сочной цветастостью луговины.

И не сказать, чтобы житие в этом крохотном городке было, словно у Господа за паузой: человек, он ведь, известно, — везде человек, как со своим добром и любовью, так и со своими страстями; куда ему, грешному, от них-то?

Но как-то так уж повелось, видать, еще от дедов попридержалось: ворота здесь по сю пору доверчиво запирают на палочку и собак спускают на ночь не для припуга, а разве что за-ради выгула. А кого остерегаться-то? Друг дружку с мальства знают в лицо, и меж собой если не ближние родичи, то уж как пить дать — сватьякумовья.

А потому и дела здесь большие вершатся миром: дом ли, амбар ли какой поставить пособить, да хоть бы по весне картошку посадить, а по осени выбрать. На том и стоит городишко. Не помогай сосед соседу, может, давно уже и сгиб навовсе.

А он, вишь ты! Сколь веков ему, хоть в столицы и не выбился, а хорохорится, не сдастся. Было время, когда у местных купцов капиталом собралось довольно, чтобы проложить в городок «железку», мог бы он выйти и в ранг губернского города. Да только засупротивились отчего-то купчишки. Народец этот себе на уме. Покумекали, прикинули и решили: мол, а куда спешить? Им и так неплохо: мощна эвон как на доходах от их конопляных, мукомольных да кирпичных заводешек набивается. Видать, от них-то, глубокоумудрых, с их легкой руки и прижилась в городке поговорка: курочка клюет по зернышку, а какает кучечкой.

Не перестрахайся тогда купцы, глядишь, набрал бы силу городок, расцвел. Может, устоял бы и в наши, уже перестроечные годы, не сгибли бы когда-то приватизированные у тех самых купчишек заводики, не стояли бы сейчас заколочеными старые, с удивительной резьбы наличниками и крылечками дома, не врастали бы они, источенные жучками, в землю, не заволонались бы подворья дурнопыяном.

Но, как бы там ни было, по пятницам и субботам, хоть уже намного реже, все еще сигналият, подъезжая к ЗАГСу, что вместился в одном из старых купеческих особняков вместе с Домом культуры и судом, разукрашенные лентами и цветами свадебные машины; еще нет-нет да услышишь голос подгулявшего, раскрылетившегося на радостях папаши под окнами обколупленного ливнями и снегами роддома: «Галинка! Гляди там у меня! Чтоб непременно мужик был!.. Шшшубу из шиншилей куплю! Пряма с Парижу!»

Здесь Богом не обижены, все еще квасят по первопутку, под Покрова хозяйки, сдабривая кто анисом, кто ягодкой-клюквой прищипленную первыми морозцами капусту. А перед Пасхой даже вдоль самого отдаленного, самого затрапезного урынка плывет дух ванильных куличей, смешанный с запахом утомленной луковой шелухи.

И не случалось еще того, чтобы после Роштва, в самые окаянные морозы под Архангельской горой, сгуртовавшись и сменяя друг дружку, без особого галдежа мужики не вырубали бы чуть ли не во всю ширь Оки Крещенскую купель. И нет того, кто бы даже клацая зубами, не захотел в ней смыть поднакопившиеся за Святки грехи.

Пройдись несспешно вдоль городка, бросься ласточкой с приокского обрыва, пролети над ним, приглядиись, прислушайся... В его деревьях так же, как в Муроме, Залеске, Болхове, Устюге, Мценске — да всех городишек и не перечесть — так же, как и в каждом из них, внешней порой здесь в кронах деревьев гортанно перекликаются, подновляя гнезда, грачи и нет спасу от затопившего пути-дороги половодья.

А в летнюю пору к исходу дня, когда уже в лощине за старым элеватором начинает воедино сплавляться небо и земля, но, словно рыба в садке, все еще трепыхается, никак не угомонится перестаревшее солнце, с какой-нибудь привычной лавочки до-олго, пока не «доклюют» скрученные на бакшах сковородки громадных подсолнухов, не могут разойтись, даже пересмаковав все последние новости, старухи.

Это городишко, в котором до сих пор, к примеру, в Светлую седмицу за-ради гулянок, обустроившись на завалинках и завернув прокуренными пальцами покруче из свойского самосада «козьи ножки», мужики любят поглазеть на петушиные бои.

А туда ближе, к майским, по весенне обрадованной земле, опять же гурьбой, словно галки за плугом, выйдут они прибрать городской сад: смахнуть с кепки гипсового вождя птичье гнездо, подновить бронзовой краской памятник землякам, павшим в Отечественную.

И так же дружно на Радоницу, собравшись на погосте, до которого рукой подать, иди хоть с какого конца городишки, спешат они расстелить скатерку прямо на родных могилочках, выпить, как водится, по три стопочки на помин ушедших, покрошить под голбцами прибереженные с Пасхи крашенки и куличики. А потом навеселе разбрестись по домам, чтобы исполнять свое повседневное житие и чтобы, как подступит Троица, снова высыпать пестрой стаей — аж в глазах зарябит — всем городишком, от мала до велика, на уже успевший пропылиться проселок, ведущий к старому примонастырскому погосту, где у каждого за оградкой рядком покоится весь род.

Так уж спокон веков здесь водилось: где бы ни жил мужик из этого древнего городка, помирать возвращался к отчому порогу. Пусть пройдет и тысяча лет, пусть осыплются с небосвода звездные штрифелины, поседеют воды Оки, но это наверняка останется неизменным.

В таких городах знают тебя или не припомнят, чьего ты роду-племени, свой ты или чужой, все одно пренебреженно поклонятся при встрече, а вослед, и не сомневайся, пройди мимо любой прикорнувшей в тенечке на лавочке старушки, посмотрит мать глазами отцветших незабудок, подымет троеперстно сухонькую руку и по стародавней русской привычке трижды перекрестит тебя вослед.

Вот такое оно, наше провинциальное житие.

В ОТЦОВСКОМ САДУ

Старый отцовский сад. Сирень в цвету. Вроде все здесь по-прежнему. Еще целы, даже изрядно вымахали и почти накрывают собой всю одуванчиковую луговину посаженные лет пятьдесят назад штрифели и пепины. На солнечных прогалках заматерели, необъятно раскустились кипенно-белые и нежнейше-розовые пионы. Правда, измельчали. Ближе к дому, в палисаде, разгулялись, заполонив малейший подступ к окошкам «самоуправные» мамины кусты кремowych роз и жасмина — махрового, с непоседливо снующими в нем от цветка к цветку блестяще-зелеными светлячками.

Но многое и изменилось в этом дорогом, знакомом мне с ползункового детства уголке. К примеру, помнится: в прошлом, при маме, сквозь сад, от антоновки,

что накрывает его входную калитку, до самой дальней, смотрящей через игинское поле на Ярочкин лес грушенки, на высоте двух метров натягивалась белевая веревка. И не проходило дня, ни в жару, ни в стужу, чтобы не трепыхались на ней пестрые постирушки. Когда же их, подсохших, снимали, можно было любоваться рассевшимися там и тут по всей длине веревки серенькими ласточками-прищепками. С уходом мамы разлетелись эти птички неведомо куда, потом за ненадобностью пропала и сама «белевка».

Сократившись до отцовского треуха, со временем исчез и наш щедрый — чего только на нем не произрастало! — сотках о десяти огород. На сегодня грядка огурцов, десяток помидорин, да горстка зелени — вот и вся огородная забота моего старика. А бывало!.. С самой ранним-ранней поры, как только проклянется по окрестным лощинам щавель, до самого Покрова, пока не спровадят в погреб последние кадки с квашеной капустой и моченой антоновкой, в кухне полыхала печка — варилось, солилось, мариновалось — одним словом, хлопоталось о том, чтобы безбедно пережить голодную зимнюю пору. И, помнится, радением заботных отца и мамы это удавалось.

Перевелись, разлетелись по чужим пасакам и наши пчелы. Тулятся полуразваленные, изгнившие колодины к ореховому плетню, заросшему сорным кленом да обнаглевшим без предела хмелем — больно глаза на них поднять. Хоть и докучали, бывало, до слез их обитатели — ни тебе в дневную пору яблочко сорвать, ни белея пересохшее с веревки сдернуть, — а все одно жаль: «скотинка-то родная». Правда, коли прищепится, так прищепится, ни за какие коврижки не отбиться! Полчасе будет зундета, а все одно допнетса: в лоб ли, в щеку, а то аккурат меж глаз пренапренно отметит. Теперь вот гуляй себе, хоть у самых летков, никто не жукает.

Все меньше стрекоз, бабочек, и птиц... Разве по случайности великой завернет какая. Хоть и дробная «насекомь», а и ее не проведешь — измельчали цветы и травы в умирающем саду. Нет в них былой радости, восхитительных живительных соков. Оттого и покинули его кормящиеся, бывало, здешними нектарами букашки.

Задичал и вишенник — дрозды и те носы от него воротят. Да и яблоки — не яблоки, так, мелюзга одна, прям-таки ранетки. А впору моего детства ведрами, а то и вовсе мешками тащили знакомые из нашего сада первосортный фрукт, ягоду; с огорода — овощ всяческую. И себе хватало, и людям оставалось. Бери — не жалко!

И гости в былые времена в нашем доме не переводились. И свои, деревенские сватья, кумовья — а как иначе-то по-соседски? — и по выходным, глядишь, из города нет-нет то тетка, мамина сестра, с дочерью прикатит, то отцовы родичи-племянники сподобятся. Для долгих посиделок на большое семейство и сколотил тогда-то отец в сиренях длинный тесовый стол, а вокруг него — лавки: мол, на вольном духу и потолковать с родней о житье-бытье, а то и пропустить одну-другую «свойской» только в радость.

Сирени хоть и потеряли цвет, из «заводских» махровых обернулись дикушками, но все еще цепляются за жизнь, все еще не сдаются, хорохорятся. А беседки той, отцовской, кой-то год и в помине нет. Ни лавок, ни широченного хлебосольного стола... Да и, к слову сказать, гости дорогу сюда позабыли. Но сколько Престолов в этих сиренях отпраздновано, сколько песен спето, сколько «барынь» да «цыганочек» отплясано! Сколько, уж если до конца сказывать, сливовицы выпито, холодцу гусяного съедено — так и не припомнить!

Отец ведь по ту пору гармонь из рук не выпускал. Без нее, без ливенки его, какая ж гулянка? Рядом с сиренями и трава не росла. Не успевала. Выбивали ее, дробя своими каблучками игинские молодки так, что суглинок тверже асфальта становился.

Помню, кинется, бывало, в круг Валентина Михайлова да «с выходкой», как присолит частушкой свой пляс — хоть святых выноси. Но незлоливо, эдак, шутя, да с подковыркой.

Собирался люд поглазеть на пляски на Пасху, на Маслену, опять же на Троицу. Гулянья эти объединяли чуть ли не всю деревню, удержаться от них мог разве что хромой — какая уж тут трава на подворье? — только пыль столбом. А на другой день всем гуртом за работу — на сенокос, в поле.

Боже ты мой! Куда все подевалось?! В какие колокола надо ударить, чтобы собрать всех по обычному, не экстраординарному поводу, к примеру, не на похороны? Старики спровадились на погост, молодежь разбрелась во все концы российские — не собрать уже, не созвать никаким калачом заманным в деревню. Расселись по городским квартирам, по собственным клетушкам, соседа по лестничной площадке покажи — не узнают. С работы — домой, из дома — на работу. И не сказать что бездельничают. Нет, работают. Все зарабатывают, зарабатывают... Выражаясь нынешним модным словом, «крутятся».

БАБЬИ КАМНИ

В октябре просветы и радости так редки, что с нетерпением ждешь-не дождешься Покрова — главного осеннего праздника.

По той поре у запасливого мужичка на дворе и кудахчет, и похрюкивает, и мычит, и ржет. Амбары доверху набиты сеном, за огородом — не один стожок соломы, в закромах — мучица нового помола, в достатке и пшенички, и ячменя. Почему ж не попроездывать? Самое времечко.

Полевые работы с дождями схлынули, а по первопутку можно и сани опробовать, в гости к сватьям-кумовьям прокатиться. А коли те опередят, подсуетятся, пораньше запрягут да нагрянут ни свет ни заря, так крепкого хозяина врасплох не застанут. Пока разгоряченных лошадак оботрут, к коновязи пристроят, овсеца зададут, пока мужички степенно перекурят, пока хозяин похвастается перед гостем племенным гусаком, а то и сторгуется тут же обменять, пока гость прикинет вес «заводской» крольчихи, подивится ее крупному выводку, хозяйка, благо не надо наскоро рядиться (сами ж в гости собирались!), метнется по хате и в считанные минуты накроет такой стол, что станет ясно: гости заживутся с неделю, не менее. А для кого же такие запасы заготовлены, как не для родных-близких?!

В чулане как раз сальцо морозцем прихватило, а в погребе такие разносолы, что зиму зимовать — в ус не дуть. В закромах, на полках да прямо на земляном полу — кадки, кадушки, кадушечки, бочки, бочонки, бочоночки, ведра и кастрюли, кубаны и банки. А в них! Капустка квашеная, огурчики-помидорчики соленые, антоновка моченая, маслята-рыжики с вишневым и смородиновым листом, с укропчиком и хренком. Выбирай на любой вкус! Хоть каждый день праздники устраивай. Не соленья, а вкуснотища!

А чтобы сохранить всю эту замочку-засолку, у проворной хозяйки с лета на завалинке не один десяток валунков просушивается, своего часу дожидается. Ведь для сохранности урожая, чтобы соленья хрусткими да вкусными оставались до поздней весны, а то и до новины, в бочки-кадушки гнет укладывают.

Ни одна бабонька деревенская не упустит удобный гладышек. Да чтоб потяжелее, повесомее. Да чтоб из песчаника или кремния. Ни в коем разе не известняк, поскольку он для кухарских дел не годится: рассол закисшей капусты или огурцов — и глазом моргнуть не успеешь! — разъест непригодный камушек, в прах рассыплет.

Величали этот «бриллиант», а он и впрямь в хозяйстве драгоценен, в разных местностях по-разному: и гладок, и гнеток, и увалень, и тяжедав, а то и просто —

давок. Названия эти от работенки его (такой простой, но такой необходимой на крестьянском подворье) — давить, придавливать, прижимать, утаптывать, жать да теснить. Коли камушек ладный, так и огурчики в рассоле пребывают, не пустеют, не всплывают. И рыжички в самый аккурат, и капуста так под ним сомлела, что сок ее и не сок вовсе, а какой-то божественный напиток: и бодрит, и силушки придает. А силы мужичку ой как надо за зиму поднакопить, к работам весенним полевым поднабраться.

Где бы мужичок такой камушек ни заметил: на берегу речушки ли, на лугу ли, в перелеске, валунок тот на телегу скинет да жене в подарок и преподнесет. Хоть и зовутся увальни «бабьими камнями», но собирают их испокон веку только мужчины. То ли потому, что тяжеловаты, то ли оттого, что непростые они. С какого места подобрал, оттуда же и энергетика на свой двор принес. А с этим не шути. Бабьонки побаиваются что ни попадя в дом нести, а потом ответ перед мужем держать. Пусть уж сам хозяин рискнет. Камень через некоторое время, как пить дать, себя покажет. Потому исстари к выбору его народ подходит серьезно.

Упаси Господи, поднять гнеток у проселка! Еще запретнее собирать «бабьи камни» на росстанях, где пересеченные дороги образуют крест. Знамо дело, самое колдовское место — ростани. Всякая уважающая себя ворожея шмыгает под ночным покровом на это злосчастное место. Сколько ее змеиного сглаза да шепота легло на камушки, что к несчастью своему закатились на перекресток полевых дорог? Сколько бед и хвороб легло на их седые, порою даже замшелые, обветренные головушки? Приподарит непосвященный в тайну «бабьего камня» женушке такой валунок, а глядь — в подвале потоп. Обручи на кадушке от тяжести не ведомых ни хозяйке, ни ее мужу, впитанных в голышок чужих грехов лопнули, бока-днища рассыпались, рассол ушел. Огурцы пустили такой дух — хоть вон беги. Капуста прогоркла. А грибы — плесень плесенью. Все труды хозяйские — порослям в кормушку, а то и вовсе в навоз.

Предусмотрительная бабьонка, как подъедется разносолы, кадушки — прямоком на реку. Промоет, утопит в омутке на все лето. А валунки сполоснет да отдыхать пристроит. И камушки до поры засыпают. Вылежатся они к осени, дождями выполощутся, солнышком прожарятся. Принюхаешься: вольным духом пахнут да свежей проточной водицей. Ошпарит их хозяйка кипяточком — разбудит. И хоть сразу в кадку.

Другое дело — увалень-находка. Хозяин несет его, не давая в руки жене, в баню. Прокаливает, пропаривает, смывает всевозможные колдовские чары. А перед этим, не переступая порога, снаружи бани вычитывает над камнем:

«Снимаю с тебя, царь-камень-каменище, дремоту лесную, тяготу земную! Не режь ребром, служи добром! Станешь давить — не раздави, из рук скользнешь — белых ног не трожь. А сунется ворище, не сдвинет каменище! Аминь».

После пропарки хозяйка поджидает остывший и обсохший камень с холстинкой. Входит в горницу, чтобы каменюгу «умаслить». Конопляным или подсолнечным маслом на него поливает, со всех сторон натирает. Еще наши предки считали, что валунок может хранить память долгие годы (быть злопамятным или добропамятным), и потому перед тем, как доверить ему ответственную работу — хранение продуктов на зиму для всего семейства — новый камень «умасливали», завоевывали его расположение.

Коли приснится хозяйке, что она гнет-валунок в кадушку укладывает, возрадуется сердешная (как душечка-то не екнет?): клад по весу с приснившийся камень в самом недалеком будущем сыщется.

Это теперь банки-склянки, а раньше (веками!) соленья-квашенья хранились в бочонках да под гнетком. Камушек каждый раз подбирали на глазок. Вес его зависел и от величины кадки, и от того, какой продукт в нее укладывался.

К примеру, для огурчиков сойдет средней тяжести грузец, а помидор — овощ нежный и обращения к себе такого же требует, потому и валунчик в помидорный бочонок отбирают самый наилегчайший. Грибы же да капуста — ребята простецкие, и камень аккурат по ним — поглубе да потяжелее приберегают.

Прежде чем гнет уложить на дощатый дав-кружок, принято ошпаривать и камень, и круг крутым кипятком, споласкивать соленой водицей. Бабушка моя, дочка знаменитого на всю округу бондаря, суется по осени в погребце у наполов-кадушек, каждый раз пришептывала известную любой деревенской бабе присказку: «Не сеяно, не молочено, в воду обмочено, камушком пригнетено, к зиме приблюдено». Прохлопочет, бывало, она дотемна в подвале, «уберет напольчики в зиму», перекрестит каждый не один раз, а как выберется на свет Божий, подпрет дверь да напоследок и прочтет: «Помидорчики-огурчики во соку, что красна девка на боку: лежат — не маются, спят — наслаждаются. Будет нечистому пусто, а нам зимой густо. Аминь».

И по сю пору известна хозяйкам эта нехитрая присказка. Выслушает ее камушек-валунок, закричит, поднатужится — холода-то еще только подкатывают, работы невпроворот! — и станет ладно справлять свое дело: следить, чтобы грибочки-яблочки из рассола не выскакивали, чтобы круги чин-чином поверх солевых возлежали. Тогда и зиму перебедовать — что с горы камушек скатить.

ДАБА

Произошло это несколько лет назад, но до мельчайших подробностей помнится по сю пору. Житейские катаклизмы выбили меня тогда из равновесия, и я, как бывало в моей судьбе не раз, отправилась утолять свои печали на отчину.

Дело было после Покрова. В душе — ни приюта, ни покоя, а тут еще расхлупалась осень. На исходе октября спозаранку ветер полощет на всю ивановскую застиранные, замызганные дни. В беспросветной серости вечерние сумерки подползают так незаметно, что и оглянуться не успеваешь, как весь окружающий мир — и подворье со всеми клетушками-сараяшками, и порыжевший приречный дол с понакрытыми ветошью отавными стожками, и за Дабой⁶ расстегнутые нараспашку леса — все ухает в непроглядную ночь.

Ведь знаю с малых лет: в такую пору на версту от деревни не отходи, пережди в уюте осенский морок до первопутка. Заквашивай с брусникой капусту, замачивай со ржаной соломой антоновку. Да мало ли еще какие дела сыщутся на крестьянском подворье поздней осенью?

Но вот понесло же меня за «крайними» опенками! А все дед Трофим со своими рассказнями. Испытано сотню раз: ему набалобонить — что чихнуть. Но уж очень соблазнительно-вкусно, «остопарившись», рассказывал он вчера, когда приходил к отцу за прополисом «от ломоты» для своей застудившейся на бахче Макаровны, прям-таки бился об заклад старый прохиндей: мол, хотите — верьте, хотите — с хлебом ешьте, а только «надьсь, телепая на своей вовсе обезножевшей Рохле от кума», доглядел он, как из-за Дабы «перли какие-то нашенские бабы неподъемные плетухи с грибами». Молол языком дед, молол, а сам нет-нет да прищуривал свои лукавые глазенки на меня: знал, «ни в жисть» не сдержусь, проверю заповедные места.

Лучше б стерпела! Да и не стоило так далеко заходить за Дабу. Стемнело невероятно быстро, а я, продираясь на взгорье с под завяз утоптанной плетушкой, сошмыгнувшись с наторенных троп, уже напрямки, нахлобучив пониже отцовский кроличий треух, все еще торю наперекор усиливающемуся сиверке свой обратный путь.

⁶ Д а б а — перевал (монгольск.).

Обычно в такую пору особенно явноستвенно перемаргиваются огоньки деревушек, но нынче, как назло, сквозь густую октябрьскую кромешность, сквозь развесившиеся по деревьям, разлегшиеся по буеракам берендеевыми космами туманы невозможно различить ни единого приветливо подмигивающего глазка. А моему напряженному слуху, как нарочно, так жгуче хотелось расчуять, как где-то, пусть даже у черта на куличках, заревела в коровнике, вспомнив о чем-то своем скотина, или прохлопала к теплу по вязкой сметане проселка запоздалая телега. Потонувшие в мороке нелюдимые пожни и перелесицы замерли в предрешенности, в безнадежной неминуемости.

Ни души. И только тащится за мной в покровской стылости старая дворняга Ньюха, то внезапно исчезая (слышу: шныряет где-то совсем рядом, мнет валежины в густоющих ломах тумана), то так же неожиданно объявляясь.

Увязалась на свою кудлатую голову и теперь, промокшая до малой шерстинки, продрогшая до косточек, мудрая псина старается не подавать виду. А ведь знаю наверняка: валится со всех четырех своих радикулитных лап.

При затаившихся наших с Ньюхой тяготах, при всей труднопролазности положения где-то на донышке подсознания не без гордости копошится мыслишка, не позволяет окончательно закиснуть: все-таки впитанная с материнским молоком крестьянская сноровка дает о себе знать. Не ведая, по каким ориентирам-вешкам, иду наверняка правильно — местность наострилась на подъем.

Вот и ладно, а то в начале-то, было, подумалось: заблукала, похотелось даже, как учила когда-то меня, маленькую, бабушка: коли почуешь в лесах чего не так, чтоб не насмеялся лешак, тотчас поменяй обутку, правый ходак — на левый, левый — на его место, глядишь, тотчас, как мольня, к людям и выберешься.

Понесло холодом. Как пить дать, к утру закрайки лужиц покроются тончайшим, едва приметным слюдяным ледком. Послышался ленивый говор реки, и мы, кое-как приладившись, по осклизлым камням перебрались на другой берег, от которого еще издали тянуло терпким хвойным духом. Отсюда, по моему разумению, пойдут наши хуторские сосновые боры.

Умаяла-ась! Скинула под сосну плетушку, присела передохнуть. Вижу: псина моя совсем никуда. Улеглась у ног, шлепая губами, уложила осоловелую морду на лапы, в глаза с укоризной заглядывает: «Куда ж ты меня, растакая, на ночь глядя завела? Я-то думала, в селцо за жамками идешь, а ты э-э-вон куда дернула, хоть бы намекнула, я бы лучше в Казюлихин курятник за подкладнем смоталась».

Даже от баранки — а ведь как обожает помусолить в своих истершихся зубах! — напрочь отказалась. Видать, пора с нею разговоры разговаривать, а то и до конуры своей родной разнесчастная не доковыляет.

— Ничего, — говорю, — подружка моя сермяжная, держись! Нам бы только до Дабы доползти, а там — котушкой под горочку. Пару верст и, глядишь, спустимся в Гривастую лощину, в ней, окруженной старым сосняком, как у Господа за пазухой, — тепло и уютно, скорехонько на Кирюхин взлобок подыдемся, с него уж и до хутора рукой подать. Не раскисай, держись, старушенция. Вот послушайка, хоть и замудренистая ты псина, каких отродясь на нашем хуторе не водилось, а только голову даю на отсечение: даже ты того не ведаешь, о чем я тебе по большому секрету расскажу. Только ты уж меня за это потом уважь, не подведи, не бросай здесь одну.

Так вот, значит... Хутор наш еще в стародавние времена прилепился почти на самой маковке Среднерусской возвышенности, по ее правому боку. По левому обустроились такие же древние деревушки Жихарево да Ключево. Жили себе предки наши, поживали и твои, стало быть, песьи собратья тоже, на длинном безымянном холме, пока в начале тридцатых не воротился на свои корни аж из Монголии, где «добывал всяческую белогвардейскую контру», израненный — правую

руку оставил где-то под Кош-Агачем — командир Красной армии Корней Ефимов.

Крестьянствовать без руки бедолажному ой как несподручно. А потому поступил он на службу в лесхоз — объездчиком убогому куда ни шло. Лесник тот, Корней Ефимов, и окрестил на монгольский манер лесистый хребет нашей возвышенности Дабой.

Ну, это я случайно узнала, все от того же деда Трофима, которому Корней доводился родным дядей. А деревенские по большей части и не задумывались, и не догадывались, откуда взялось и как прижилось в наших краях это чужеземное слово. Даба да Даба, будто искони так и велось...

Который час, уж и счет потеряла, идем, а Дабы нет, как не бывало. Может, и впрямь закружились? Не чувю ноги спуска, хоть убей. Все в гору да в гору. Вот, думаю, досчитаю до пятисот шагов, тут и взойду на маковку, сколько раз так пересчитывала — со счёту сбилась, сколько перепрыгивала ручьев, сколько проломила сквозь бересклетник стежек, в скольких скирдах подваливалась передохнуть, знает один Господь.

Уж и совсем, было, отчаялась, как нежданно-негаданно натолкнулась на поросший мхом, изрядно накренившийся дубовый голбец. Вспомнилось: поставлен он на могиле лесника Корнея. Во время коллективизации подстерегла его здесь наголову разбитая, но долго еще погуливавшая в наших краях банда анархиста Силаева. Привязали прятавшиеся по лесам озверелые людишки комбедовца Корнея к сосне, обложили сушиняком да заживо и спалили. Даже праха от лесника не осталось; не сжоронить было Корнея на погосте, потому и поставили мужики на месте последнего его вздоха на память высоченный крест.

А стоит он — кто ж у нас не ведаёт? — на самой хребтине, когда-то нареченной Корнеем Дабой. Холмик давно сровнялся с землей, порос крушинником, но могучий, мореного дуба крест хоть и подвалился навзничь, но все еще крепится, не рухает.

Под сотню лет той истории, но по сей день боязно проходить мимо. А уж как ночью-то жутко! Хоть бы птица какая голос подала, хоть бы зверь пробежал. Сыро, пусто, как в разграбленном склепе. И только сосны наперебой заступают мне путь из тумана, тянут свои коряжистые руки навстречу, того гляди, заграбастают, уволкут в свое омертвевшее царство.

Нет сил не оглядываться. Там, позади, у покренившегося креста мерещатся перебегающие от куста к кусту фигуры. Ноги подкашиваются, но надо собраться с духом — впереди, по моим подсчетам, если вновь не блуканула, еще полпути.

А навстречу из тумана движется кто-то огромный, неохватный, и уже нет никакой возможности от него спрятаться или увернуться! Иду напропалую и натыкаюсь на позабытую кем-то новолетнюю копну. Пахнет донником и иван-чаем. Обрадованная сухому местечку, Нюха падает у его подножья, надеясь, что и я поддамся соблазну.

Но душа моя не на месте: приткнись я рядом с Нюхой — усталость возьмет свое, и тогда, как пить дать, не подняться мне до света. А расслабляться нет никакого резона — видать, снова забрала вправо, идеу прыжком по Дабе и никакого спуска не ощущаю. То ли от промозглости, все лише охватывающей меня, прокравшейся, кажется, в самое сердце, то ли от страха вовек уже не выбраться из этого отуманенного, замороженного мира, к горлу подкатывает ком, на глаза наворачиваются слезы.

Пытаюсь звать на помощь, но голос мой настолько жалок в этом затаившемся безлюдье, что слова мои, ухая в бездонный морок, не дождавшись ни отклика, ни малейшего эха, тут же немевают и глохнут, пропадают в вечности.

Кричи не кричи, но даже если за этими белесыми занавесями прячется боль-

шущая деревня, сейчас уже, скорее всего, такой час ночи, когда ни одна бездомная псина не торкается по осенской хляби, а не то что человек. Все давным-давно прибились к какому-никакому жилью, а главное — к теплу. Становится еще жутче от сознания, что ни одна божья душа до самого утра не придет мне на помощь: спят хуторяне, спит сторож Митрич, разошлись по домам последние припозднившиеся парочки. И только мы с Нюхой в этой стылой октябрьской ночи все не сыщем себе приюта.

Присаживаюсь перед собачинкой на корточки, глажу ее облепленную репьями лохматую голову. От безысходных мыслей слезы сами по себе бегут еще шибче из моих воспаленных от ветра глаз, и зубы непроизвольно принимаются выбивать безудержную дробь. Вместе со мною под усиливающимся ветром гудят и дрожат и поредевший бор, и на его окраине раздетый донага осинник.

Но я встаю. Чтобы постоянно чувствовать рядом живую душу, цепляю за Нюхин ошейник обнаруженную в глубине фуфаечного кармана веревку, и мы нога в ногу снова пускаемся в путь.

Ветер подымает с земли палую листву и швыряется в нас охапками. Я отворачиваю лицо, Нюха воротит морду, но мы, подвластно высшей воле, следуем вперед. То ли от того, что иссякли сами по себе, то ли высушил ветер, слезы окончательно истончаются, сначала в душе волною поднимается дерзостное упрямство, а следом за ним зарождается смелая уверенность, что рано или поздно преодолею Дабу и, в конце концов, осилю эту, может, самую тяжкую в моей жизни ночь.

И действительно, выйдя на открытое пространство, зашуркав по набрякшей, ржаной стерне, я вдруг явственно почувствовала, как местность все круче пошла под уклон — значит, все-таки Даба осталась позади.

И что удивительно: ноги не помнили об усталости, будто открылось второе дыхание, потерянность улетучилась, душа обрела равновесие. Не страшили ни дикие порывы ветра, ни сшибавший с ног прорвавшийся сквозь морок остервенелый дождь. За время мытарств, прошедшее в поисках перевала, я будто повзрослела на десяток лет, что-то во мне утряслось — как у нас говорят, «устаканилось». Уже не надо было подгонять Нюху, биться из последних сил самой.

В душе вызрело и окрепло понимание: все рано или поздно становится на круги своя. Надо только набраться терпения, а главное — не оглядываясь, идти уверенно вперед, только вперед! Столько, сколько отвел Господь. И пусть на пути неминуемы потери близких, всевозможные душевные и телесные болячки и невзгоды, периоды нешутейного, по-настоящему беспросветного одиночества, пока мы живы — все решаемо!

Если хорошенько вспомнить, так и со счету можно сбиться, сколько раз ошмыгивалась, падала, думалось: все, ни за что не выкарабкаться. Но, словно барон Мюнхгаузен, брала себя за шкуру, вытаскивала из трясины. И снова — в дорогу! Кто знает, сколько там еще впереди, какие еще ждут меня взлеты и падения?

И я, ошибаясь и разочаровываясь, снова обнадеживаясь и преодолевая очередной перевал, упрямо торю свой путь.

